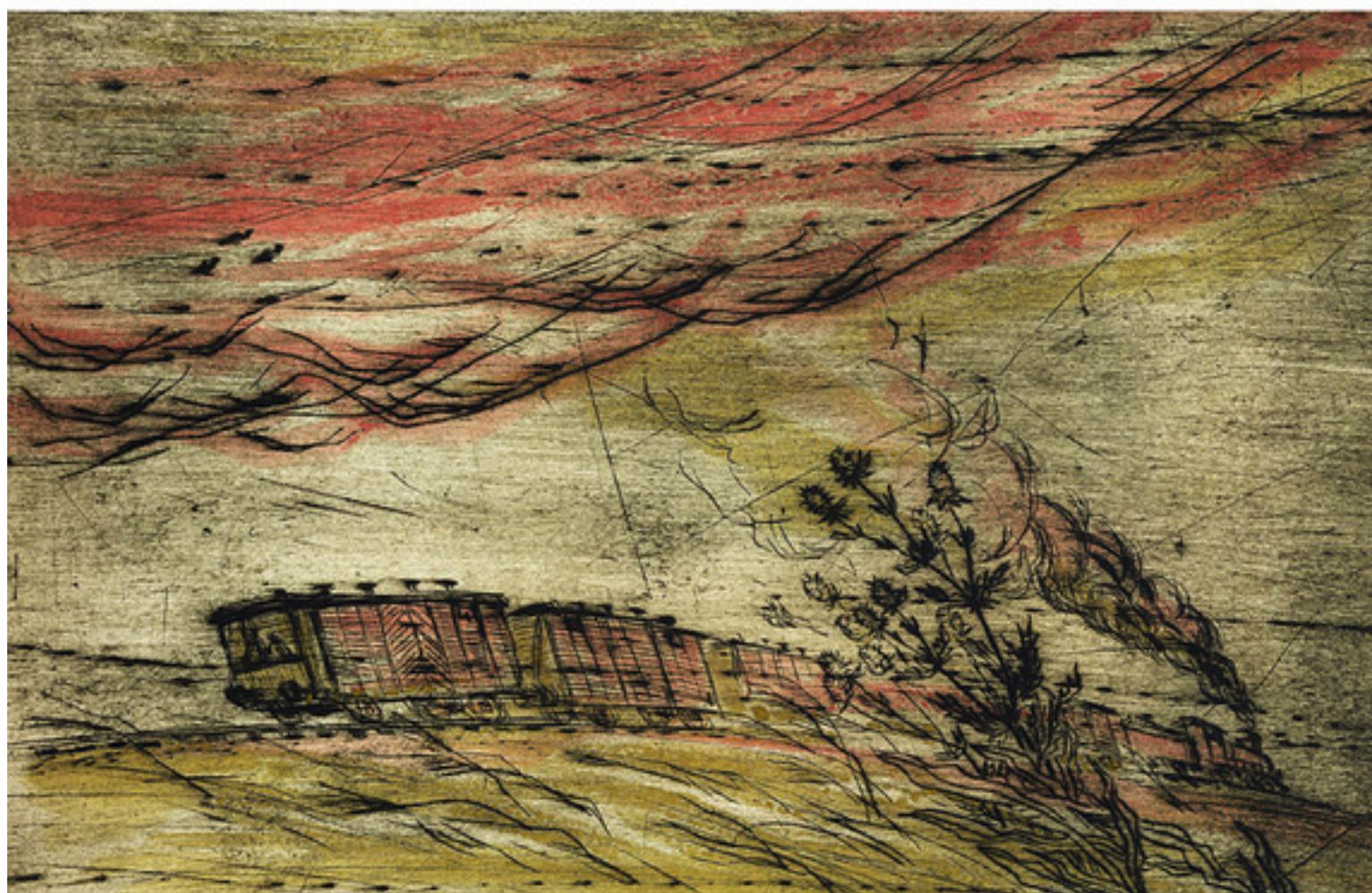


Виктор Казаков

Литерный вагон



Виктор Казаков
Литерный вагон

«Книга-Сэфер»

2015

Казаков В.

Литерный вагон / В. Казаков — «Книга-Сэфер», 2015

...Во все годы строительства «лучшего в мире» государства у коммунистической партии СССР была одна тайна, которую, как ни одну другую, власти охраняли, прятали, окутывали враньем и лживыми легендами. Делу служили беспощадные к своим гражданам карательные органы, сонмища чиновников-идеологов, им в помощь трудились поколения деятелей гуманитарных наук и мастера литературы «социалистического реализма». Этой тайной была отечественная история... Герои повести «Литерный вагон» неожиданно получают шанс проникнуть в один из тайников правды; с верой в успех они кидаются в увлекательное для них дело...

Содержание

Глава 1. От автора. истоки сюжета	6
Глава 2. Тяжелая утрата	14
Глава 3. Военная тайна	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Виктор Казаков

Литерный вагон

© Виктор Казаков, 2015-06-04

© Издательство «Книга-Сефер»

* * *

Глава 1. От автора. истоки сюжета

1



Три события в личной жизни, почти не замеченные даже теми людьми, которых мы вправе отнести к ближайшему окружению наших героев, послужили истоком сюжета этой повести. Изложим эти события кратко в хронологическом порядке.

Событие первое. Произошло в апреле 1983 года в городе К., крупном, достаточно удаленном на юг и на запад от Москвы краевом центре.

Ясным весенним утром – ночью над городом прошел теплый дождь, и теперь в небе улыбалось рано вставшее над многоэтажками солнце – профессор К-ского университета доктор исторических наук Иван Петрович Масалов шел в центр города. Шел, как за тридцать с лишним лет привык ходить по университетским коридорам, – степенно и важно, той самой неторопливой походкой, которая появляется в человеке сама собой при достижении человеком достаточно высокого положения в обществе. Правда, в то утро профессор минутами с неудовольствием замечал стихийно возникавшее в нем желание ускорить обычный шаг, но, догадываясь о причине этого желания, он, упрекнув себя за малодушие, принципиально не менял походки.

Приглашение посетить крайком партии, полученное вчера по телефону от «инструктора отдела агитации и пропаганды Макрауцана» (так представился звонивший) смутило и обеспокоило профессора, искренне считавшего, что в столь высокой инстанции, которую ему, между прочим, ни разу до этого не удавалось посетить, он вряд ли кому-нибудь может быть интересен. Масалов был беспартийным, общественной активностью не отличался, в университете читал студентам курс истории древних тюрков... «С какой целью я *им* понадобился?» – по дороге в крайком спрашивал себя ученый.

«К добру это или во зло?»

Было без пяти минут десять, когда профессор все так же вальяжно и не торопясь преодолел перекресток, слева от которого, бросая огромную тень на большую площадь, возвышалось тяжелое белокаменное здание.

Предъявив милиционеру полученный в специальном окошке пропуск («похож на лотерейный билет», – мелькнуло при этом в голове профессора), Масалов вошел в лифт и, согласно обозначенному в пропуске номеру кабинета, поднялся на одиннадцатый этаж.

Инструктор Макрауцан – узкоплечий, лысоватый, в сером костюме человек – встретил профессора мелкой, судорогой пробежавшей по лицу улыбкой, встал со стула, подал свою и коротко пожал профессорскую руку, после чего предложил Масалову сесть на стул, ибо, как он выразился, у него к профессору «есть недолгий, но серьезный разговор».

Советский человек, вызванный в государственную инстанцию, серьезных разговоров в инстанции, как правило, не любит – в нем постоянно (и не независимо от поступков, из которых складывалась биография человека) живет перманентное ощущение вины перед государством, и хотя он не задумывается над тем, откуда взялось это ощущение и в чем конкретно может заключаться его вина, он интуитивно опасается, что в «серьезном разговоре» она-то вдруг со всей очевидностью и прояснится.

Масалов осторожно сел на предложенный ему стул и огляделся. В кабинете стояли одно-тумбовый стол, стул, тумбочка, на тумбочке – телефон, пишущая машинка, графин с водой и стакан; паркетный пол блестел желтым лаком; за спиной инструктора на стене в тяжелой коричневой раме висел большой портрет генсека Андропова.

«Хм... ничего лишнего», – с оттенком необъяснимого (и, наверно, несправедливого) осуждения успел подумать профессор, а Макрауцан в это время открыл толстый, в кожаном переплете блокнот.

– Секретариат краевого комитета партии, – инструктор сделал многозначительную паузу, тем самым подчеркивая важность сообщаемой им информации, – решил рекомендовать к изданию серию сборников документов об истории нашего края. Мы просили бы вас, известного в стране и за рубежом ученого, возглавить работу по составлению этих книг... Вы, мы знаем, не занимаетесь современной историей, но Секретариат остановился именно на вашей кандидатуре...

Масалов тихо и незаметно вздохнул. Камешек, минуту назад давивший на сердце, кажется, стал сползать в менее чувствительные области тела.

А инструктор еще минут пять продолжал держать перед глазами толстый блокнот. Масалов краем уха слушал его речь.

– ...Древности – поменьше, советский период – главным образом... Мы установили сроки... И, конечно, политическая направленность... Сейчас, когда в мире обострилась идеологическая борьба... У собранных в книгу документов – немалая сила убеждать и, стало быть, воспитывать...

Масалов, уже проработавший в разных архивах в общей сложности не один год, хорошо знал не только силу документов, которую имел в виду сидевший перед ним чиновник, но и коварство некоторых из них: вдруг обнаруженные, эти *некоторые* порой взрывали логику, казалось бы, безупречно обоснованной научной гипотезы и заставляли исследователя ломать голову над новой концепцией. Эти неожиданности, конечно, были интересны и даже желательны, когда исследовалась история, например, древних тюрок, но они грозили серьезными неприятностями специалисту по истории советского государства, работавшему в условиях перманентного «обострения идеологической борьбы».

Выслушав Макрауцана, профессор, мобилизовав все свое благоразумие, промолчал об этом обстоятельстве и, корректно улыбнувшись, согласился на предложение, сделанное ему по поручению Секретариата крайкома партии.

Он, конечно, догадывался, почему у крайкома именно в это время появился интерес к архивным документам и с какой целью ему поручили составлять сборники, в которых было бы *чего-то поменьше, а чего-то главным образом*. Экономика в стране катастрофически быстро и необратимо разваливалась. Население за едой, как в войну, выстраивалось в магазинах в длинные очереди. У людей заметно усилилась (никогда, впрочем, не исчезавшая) страсть к пьянству, а у самых умных при этом возникало еще и желание критически осмыслить «уроки Октября». Страна заметно накренилась в опасную сторону, в воздухе запахло радикальными политическими переменами, и партия всеми подпорками старалась выпрямить наметившийся крен. По команде из Москвы запускался (и не только в К.-ском крае) дополнительный идеологический механизм, в котором Масалову отводилась роль одного из его винтиков и рычажков.

...В небольшом Пушкинском парке, едва затененном молодой зеленью деревьев, Иван Петрович сел на скамейку, чтобы не торопясь обдумать только что произошедшее с ним в крайкоме.

Мысль, обеспокоившая его душу еще в ту минуту, когда инструктор Щелкунов, прощаясь, вяло жал ему руку, продолжала мучить профессора. «Надо было отказаться! Надо было...» Масалов повторял и повторял про себя эту нехитрую фразу, а в это время где-то рядом с ней шевелилась другая, обидная, мысль: «*Они* наверняка знали, что я не откажусь...»

Утешая воспламеняющуюся совесть, Иван Петрович искал хоть какое-то оправдание своему малодушию.

«Ну, кто из моих уважаемых коллег, – через минуту слабо и неубедительно утешал он себя, – отказался бы от предложения крайкома? Академик Федорченко вызовом в крайком был бы польщен, при случае, напомнив начальству о важности полученного задания, попросил бы новую квартиру; профессор Тюленев ответил бы, как и я, лакейской улыбкой; доцент

Линковский всегда был небрезглив и до мозга костей циничен... Все, кто на моем месте мог бы сказать сегодня *нет*, уже давно сгнули, остались только такие, как я...»

Через несколько дней Иван Петрович собрал группу ученых-историков, которым предстояло работать над сборниками по истории края. Дело было рутинным и Масалову неинтересным. По опыту своих коллег, специалистов по новейшей истории, он хорошо знал способы, с помощью которых непорочные документы, в результате нехитрых манипуляций, начинали рассказывать не то, что в них было, а то, что *требовалось*.

Сборники вскоре стали выходить.

В крайкоме хвалили профессора.

2

Событие второе. Случилось в марте 1987 года в том же городе.

За два дня до этого события Алексей Никитин, ученый, кандидат исторических наук, заместитель директора краевого архива, похоронил отца – на новом к-ском кладбище (старое, к этому времени уже плотно окруженное высокими городскими микрорайонами, давно было закрыто), рядом с умершей пять лет назад Екатериной Мироновной, матерью Алексея. Отец никогда не болел, казался здоровым и умер во сне – еще полный сил, энергии, жизнелюбия и работоспособности. Ему было всего пятьдесят девять лет.

– Вы зря удивляетесь, молодой человек, – три дня назад сказал Алексею врач в морге. – На сердце вашего отца мы насчитали восемь микро-инфарктов.

Девятым, как объяснил тот же врач, был макро-инфаркт...

Проснувшись, как всегда, в шесть утра, Никитин, не оторвав от подушки головы, включил стоявший рядом с постелью светлозеленый торшер. Комната, в которой он знал на стенах каждую трещинку и каждый бугорок, в то утро показалась чужой и холодной.

«Осиротела квартира»...

Шестиэтажный дом из белого камня-ракушечника, в котором жили Никитины, стоял в центре города. Его построили десять лет назад, когда Москва неожиданно «выделила» большие деньги на обновление краевого центра – город к тому времени обветшал настолько, что обычные капитальные ремонты уже не могли скрыть следов его нищенской старости.

Семья учителей-математиков получила тогда двухкомнатную квартиру на третьем этаже дома, а до этого жила тоже в центре города, но в «коммуналке» – ветхом особнячке, который еще до советской власти построил небогатый, но экономный парикмахер. В этом здании, уже покосившемся из-за слабого фундамента, Никитины занимали одну комнату, а в двух других жили две крикливые, уже изрядно потрепанные беспутной жизнью девицы-продавщицы гастронома и плосколицый отставной капитан, бас которого легко заглушал визгливый гвалт, который часто поднимали на общей кухне обе женщины. Соседи по «коммуналке» были людьми скандальными и даже злобными, на их лицах в любой час дня было написано желание плюнуть кому-нибудь в лицо... Возможность не встречаться с девицами и капитаном каждый день на общей кухне и у входа в общий туалет в немалой степени усилила радость Никитиных, когда они после многолетнего ожидания получили, наконец, ордер на квартиру в новом белом доме.

Из этой квартиры Алексей пошел учиться в университет (два года прожил в студенческом общежитии – «для более глубокого изучения жизни», как объяснил он родителям), сюда привел жену Галю, тоже историка, специалиста по античной истории Балкан; здесь наш герой пережил и первый в жизни, казалось, чудом не сбивший его с ног жестокий, ничем не заслуженный удар судьбы: через год после свадьбы в морозный зимний день Галя, не сумев родить, умерла.

После этой смерти молчаливее стал обычно шумный и веселый, даже порой казавшийся легкомысленным Василий Иванович...

«Может, тогда-то и началось в отце *необратимое?*»...

Алексей открыл верхний ящик тумбочки, взял в руки лежавшую там большую красную папку. Поверх папки на аккуратно приклеенной белой этикетке рукой отца крупно было написано: *«Эпизоды жизни Василия Ивановича Никитина, записанные им собственноручно и добровольно по просьбе сына Алексея, цензурой не проверенные, а потому к печати не рекомендованные».*

Алексей легко представил себе улыбку отца и сам за все последние дни, кажется, впервые улыбнулся.

История рукописи была такова. Год назад у отца с сыном зашел разговор (время от времени возникавший и до этого) о научных делах Алексея. Никитин-младший тогда только начал собирать материалы для своего нового исследования – о том, как за семьдесят лет изменили советского человека социализм и тоталитарная власть.

– А, по-моему, – сказал в том разговоре любивший по любому поводу поспорить Василий Иванович, – люди вообще не меняются. Прочти письма великих, тех, что жили не только без компьютеров, а и до велосипедов (Пушкина, например), – их волновали те же страсти, что и нас... О Пушкине некорректно? Хорошо, возьми Ветхий Завет...

Мысль была небесспорной, но Алексей возражать отцу не стал. В его голове тогда возникло, как ему показалось, интересное и полезное – в частности, для его будущего собственного сочинения – предложение:

– А напиши-ка и ты мне письма, отец. Расскажи эпизоды из своей жизни, которые тебе почему-то запомнились.

Свободного времени у Василия Ивановича было мало (работал отец в школе, преподавал, как когда-то и мать Алексея, математику, кроме этого вел какие-то кружки, организовывал олимпиады...), желания заняться литературным трудом, как он честно признался, не было вовсе. Поэтому от предложения сына он долго отказывался, но Алексей все-таки уговорил его «попробовать», и отец, сочинив первые «эпизоды», работой в конце концов увлекся.

Рукопись осталась незаконченной.

Прочитать целиком написанное отцом Алексей решил вечером после работы, а сейчас наугад достал страничку из середины папки.

«Эпизод двадцать девятый. В одиннадцать лет, Алеша, я был шахтером. Нет, под землю, конечно, не лазил, уголек добывал на поверхности и не для государства, а преследуя шкурный личный интерес. Дело было, как ты ужже, наверно, посчитал, в войну, мы тогда с матерью и младшим братом сбежали от немцев, наступавших по Белоруссии, в сибирский город Киселевск, где было много угольных шахт. И возле каждой терриконы – черные пирамиды из породы, задерешь голову к вершине и мозги кружатся... Поселились мы в летнем домике одной доброй женщины. Зимой домик стал промерзать, потому что топить печку было нечем, и тогда хозяйка подсказала нам, как можно добыть топливо.

Бабушка твоя работала по двенадцать часов в сутки на швейной фабрике. И когда она была занята в ночную смену, мы с ней стали ходить к ближайшему террикону, на вершине которого днем и ночью вращались большие колеса и через короткие промежутки времени опрокидывалась вагонетка с породой. Каменные обрубки с грохотом катились вниз, потом вагонетка исчезала в черном стволе и на несколько минут наступала тишина. Это были наши шахтерские минуты! Вместе с породой вагонетка высыпала и куски добротного угля, мы его отыскивали, кидали в мешки, а, услышав, что наверху в очередной раз опрокинулась

вагонетка, бежали в сторону, иногда при этом приходилось перепрыгивать через огромные серые валуны, со свистом накатывавшиеся прямо под ноги».

Алексей, все еще укрытый одеялом, содрогнулся, живо представив себе маленького, плохо одетого мальчика, убегающего (зимой, в сибирский мороз!) по склону террикона от летящих, как пушечные снаряды, камней. «Так закалялась сталь!»

Не хотелось верить, что отца нет, что ни один из предметов в доме, принадлежавших ему – в их числе и эту красную папку, – он теперь никогда уже не возьмет в руки...

Пропустим переживания нашего героя по поводу только что прочитанного им *двадцать девятого эпизода* – переживания эти, при желании, легко представит себе читатель. Тем более что и Алексей уже отложил папку отца и, все еще лежа в постели, сосредоточился на размышлениях о жизни, которая была ему понятнее и ближе.

Через семь месяцев, седьмого октября, ему исполнится тридцать восемь лет.

«В архиве женщины подарят цветы, соберут на бутылку шампанского; директор, жмот, даст тридцать восемь рублей премии (по этому поводу Никита Кнут не преминет съязвить: «за бесцельно прожитые годы», но с удовольствием станет пить водку, купленную на эти деньги). Водку будем пить в ресторане; позову друзей... сколько их осталось? о чем через семь месяцев будем вести *высокие* разговоры?..

Тридцать восемь лет промчались, увы, курьерским поездом, и уже недалек тот день, когда я буду жить не будущим, как велит партия, а стану вспоминать прошлое – как потрепанные жизнью и выступлениями перед молодежью ветераны войны и труда... Кое-что, может, и вспомню с надутыми от гордости щеками: диссертацию, монографию, статьи, хотя, если без лукавства, и они лживы от первой буквы до последней. Творчество, которым я горжусь, и не могло быть *настоящим*, потому что в основе моей «науки» лежат по крайней мере две гнилые балки: искренние заблуждения мыслителей-утопистов и циничная ложь собственных вождей...»

Еще раз подумав о своем возрасте и о том, что *вера во вчерашнее*, слава Богу, кажется, уходит, Алексей (не то от досады по поводу прошлого, не то собираясь с силами для еще не совсем понятного будущего), вздохнул полной грудью.

И в это время...

Может, у великих людей мысли и возникают неожиданно, как молнии на черном небе. У обычных смертных это происходит по неторопливым законам эволюции: мелкие и крупные впечатления жизни постепенно наполняют человека, никто не знает, как они *внутри* взаимодействуют, но от их взаимодействия и всплывает вдруг *озарение*: через некоторое время человек встает с постели и объявляет самому себе и окружающим, что он, наконец, решил на радикальный поворот в своей жизни... Никитин-младший в то утро «вдруг» принял подобное радикальное решение, а «мелкие и крупные впечатления», способствовавшие этому, пусть домыслят сами читатели, среди которых, наверно, найдутся еще те, кто помнит и хрущевскую «оттепель», и брежневский «застой», и горбачевскую *«перестройку»*:

– «Из группы Масалова надо уходить. Немедленно!»

Алексей отбросил, наконец, теплое одеяло и, довольный и взволнованный принятым решением, встал с постели.

Через два часа в архиве в специально выделенном Масалову кабинете он встретился с профессором, и они объяснились по поводу работы над документальными сборниками «История К.-ского края». В заключение трудного разговора, не переставая удивляться обнаруженной в себе смелости и глядя прямо в глаза своему бывшему учителю, Алексей объявил:

– Я беру самоотвод, Иван Петрович. Навсегда.

3

Событие третье. Декабрь 1990 года, деревня Теплица – недалеко от все того же краевого центра К.

Поздно вечером пенсионер Фролов, бывший директор местной деревенской школы, уже лежа в постели и еще не закрыв глаза, чтобы уснуть, неожиданно *услышал* свое сердце. Григорий Васильевич знал, что сердце у него, как говорила покойная жена учителя Наталья Антоновна, «уставшее», об этом напоминало случавшееся – с годами все чаще – неприятное покалывание под ложечкой, поэтому он всегда держал рядом с собой стеклянную пробирочку, наполненную мелкими белыми таблетками – нитроглицерином. Но в ту ночь пробирочка не помогла. Маленьким молоточком ювелира сердце слишком часто, будто торопясь о чем-то предупредить хозяина, продолжало стучать по маленькой наковаленке, и от этого стука, то усиливавшегося, то затухавшего, щемило под левым соском, а на висках выступили капельки пота.

Фролов жил один, детей у них с Натальей Антоновной не было.

После увиденного и пережитого – Григорию Васильевичу было семьдесят лет – Фролову казалось, что теперь ему уже ничего в жизни не страшно (в этой мысли он еще больше укрепился после долгой болезни и смерти в прошлом году Натальи Антоновны). Но в ту ночь он вдруг с удивлением обнаружил в себе одну *неприятность*, которой он все-таки боялся – Фролов испугался, что сон внезапно одолеет его, а молоточек, стучавший в сердце, остановится. Утром, обнаружив его мертвым, все будут *удивляться*... И Григорий Васильевич гнал сон, а когда, уже глубоко за полночь, стал минутами подремывать, старался и во время забытья слушать сердце.

К утру оно успокоилось. Но Фролов весь день помнил об одолевавшем его ночью страхе.

Днем он получил приглашение на семейный праздник в соседний дом, где отмечали очередную день рождения главы дома, нынешнего директора школы Петра Ивановича Камбура. Гости и хозяйка – дружный педсовет школы, человек пятнадцать – хорошо знали друг друга, поэтому за столом, как только все уселись на стульях, сразу стало шумно и весело. Вспоминали достоинства именинника (как водится в таких обстоятельствах, значительно преувеличенные) и забавные школьные истории, над которыми все громко хором смеялись, потому что всем хорошо были известны и обстоятельства историй и их герои... Как водится, выпили по первой-второй, а когда хозяин в очередной раз потянулся к бутылке, Григорий Васильевич отставил свою стопку и под настойчивым напором застолья вынужден был рассказать о пережитом ночью. Человек он был деликатный, говорить о личной жизни и особенно о своем здоровье стеснялся и не любил, поэтому рассказал скороговоркой, застенчиво улыбаясь и даже покраснев от неловкости.

Фролов, повторимся, совсем не хотел в тот вечер рассказывать о своих ночных неприятностях. Но уж если сидевшие с ним за одним столом узнали об этом... Нет, нет! Григорий Васильевич вовсе не рассчитывал теперь на особое к себе внимание, он ждал лишь естественной (так ему казалось) *небольшой паузы*, которая отнюдь не нарушила бы общего веселья. Но... паузы не последовало – на несколько уже захмелевших лицах в ответ на рассказ Фролова не мелькнуло даже слабой тени сопереживания! Гости и хозяйка продолжали улыбаться, как будто Григорий Васильевич рассказал компании забавный анекдот. Веселее прежнего, перебивая друг друга, загалдели: «Да брось ты!.. Гриша, не бери в голову!..»

Григорий Васильевич в ответ заставил себя улыбнуться, позволил до краев наполнить свою рюмку и вместе со всеми еще раз выпил за здоровье именинника.

И, действительно, ничего тогда не случилось; только на душе осел холодный туман.

Разошлись, когда было уже поздно, почти ночью.

Дома Григорий Васильевич разжег печку и, не включая свет, сел у окна своей маленькой кухоньки. Как ему ни хотелось забыть неприятный эпизод, как он ни старался думать на другую тему, эпизод во всех обидных подробностях, тесня душу, не выходил из головы.

«Нина Петровна даже хохотнула, глупенькая...»

Мысли путались, противоречили одна другой.

«Зря ты больно обиделся, люди добра хотели, подбадривали, – оправдывал коллег деликатный Григорий Васильевич, но тут же рядом другой, обиженный и уязвленный Фролов горячо возражал первому: – А меня не надо было подбадривать, мне надо было посочувствовать... Сочувствие рождается у людей в душе, оно там или есть, или его нет... Почему же у них *не было*? Сколько лет вместе работали, всегда выручали друг друга – и денег друг к другу ходили одалживать, и книгами, журналами делились, и коллективно строили новый дом учителям Неновым... За хлебом до райцентра на своей машине всех не один раз подбрасывал... Мелочь? – Фролов вдруг рассердился на себя, но еще больше он был сердит на своих бывших коллег: – Зачем водку пить заставляли?.. У русских принято: пей и все пройдет? Не принято! Насочиняли сами про себя тьму дурацких легенд и анекдотов...»

Где-то рядом, как в тумане, блуждала, искала выразиться словами главная мысль – о том, что в случившемся скрыт некий важный и потому особо обидный для Григория Васильевича смысл.

«Пить заставляли потому, что *им* так хотелось. Подумать же о моем сердце, которое чуть было не остановилось прошлой ночью, им было *неинтересно*».

И, наконец, из тумана выплыла главная мысль:

«*Они меня уже списали...*»

Будто успешно решенную задачу, Григорий Васильевич отодвинул в мыслях на второй план обидевшее его сегодня происшествие и стал вспоминать другие эпизоды из последних лет своей жизни – когда он постарел. И, думая об этих эпизодах, наговорил о людях, которые его теперь окружали, много слов, в том числе, наверно, и несправедливых.

И хотя наступившая ночь прошла без *молоточков*, утром Фролов встал с постели с твердо принятым решением: пора, наконец, открыть (кому – об этом еще предстояло подумать) тайну, о которой он за полвека еще никому не рассказывал.

«Надо успеть...»

Глава 2. Тяжелая утрата

1

В книжные магазины краевого центра К. поступил очередной сборник документов, составленный группой Масалова, – «История К.-ского края-5. Сентябрь 1939 – май 1941 г.г.» В день, когда были проданы первые экземпляры книги, директор государственного архива Мирон Евсеевич Подрубайло, вызванный в крайком партии в кабинет секретаря крайкома по идеологии Ивана Сидоровича Бурбы, получил директиву (секретарь изложил ее языком, которым он владел лучше других):

– Для усиления внимания общественности к вышедшему пятому сборнику документов вам надлежит организовать широкомасштабную научную конференцию с привлечением в первую очередь интеллигенции, а также краевого актива. Срок...

Подготовка к конференции началась в тот же день, а закончилась на два дня раньше установленного Бурбой срока, при этом организаторами была проявлена полезная, как считали сами авторы идеи, инициатива: у местных кооператоров – к тому времени уже и в К. появились первые энтузиасты разрешенного государством частного торгово-производственного дела – организаторы договорились о некоторой сумме *спонсорских* денег, на которые были куплены несколько ящиков шампанского. Шампанское планировалось выставить гостям в конце вечера, в связи с чем кое-кто даже предлагал назвать конференцию *презентацией*, но это предложение директор архива категорически отверг.

Был май 1991 года.

Первые участники конференции появились в фойе большого актового зала архива за полчаса до начала мероприятия. За ними редкой цепочкой потянулись и остальные, и скоро фойе и прилегавшие к нему маленькие комнатки наполнилось густым дымом дорогих сигарет и гулом голосов хорошо известной в К. публики – уже не раз встречавшихся здесь ученых, журналистов, писателей, партийно-хозяйственных активистов, заслуженных ветеранов, передовиков соревнования и тех, что вечно вертятся около местного бомонда, составляя ему как бы некий постоянный фон, без которого в городе в последние годы, кажется, не случилось еще ни одно значительное собрание. Этот суетливый фон организаторы любых публичных мероприятий хорошо знали в лицо и очень бы удивились, если бы кто-то из его представителей вдруг почему-то не был бы обнаружен в том или ином важном коридоре. Но мало кто запомнил фамилии этих людей и уже тем более никто не интересовался, чем они, собственно, занимаются и как зарабатывают себе на хлеб.

О фоне этим и ограничимся.

Подробнее познакомимся с некоторыми фигурами, в силу тех или иных обстоятельств выдвинувшихся на основную сцену К.-ской жизни.

Под огромной люстрой, прямо посередине фойе, весело поблескивала лысинка директора института истории местного филиала академии наук, доктора наук и лидера городских демократов Юрия Ивановича Мрыкина, человека невысокого, с простецким круглым лицом, несколько полноватого, полноту которого, однако, удачно маскировала хорошо сидевшая на нем пошитая одесским портным еще до *перестройки* серая «тройка». Мрыкина окружала тесная кучка единомышленников, в основном молодых людей, которые, торопясь овладеть непривычным для них опытом демократического мышления, внимательно слушали Юрия Ивановича.

– Самое важное сейчас, – сплетал Мрыкин свою очередную «философскую» сентенцию, – углубиться в рассуждения дальше общеизвестных истин, задать себе вопросы, которые не задает никто, подумать над тем, над чем еще никто не думал. Академик Сахаров, например...

Путь в политику у этого человека начался с некоторых неприятностей в личной жизни, и одна из них случилась лет тридцать с лишним назад, когда Юрий Иванович, с лучшими в душе намерениями, но и полной неопытностью во взаимоотношениях с людьми, был еще молодым сельским учителем в Молдавии. Секретарь местной партийной организации однажды на закрытом собрании, не сдержавшись, плюнул в лицо Юрия Ивановича – за то, что тот в середине дебатов (по поводу мероприятий по борьбе с пьянством на полевых станах) задал вовсе не относившийся к повестке дня и носивший явно провокационный характер вопрос: «А почему в магазинах мяса нет?». «Дело», как своевременно оповестила тогда читателей районная газета, «получило широкий общественный резонанс», его внимательно изучали первичная ячейка, партийные власти района и даже – через тридцать лет это станет предметом особой гордости Мрыкина – лично районный уполномоченный госбезопасности майор Перышкин. Последний (большой шутник, в свободное от службы время он, говорят, даже сочинил несколько остроумных куплетов и анекдотов из жизни местных евреев) в порядке окончательного вердикта сельским партийцам, назойливо и крикливо требовавшим в «деле» Мрыкина суровой революционной справедливости, объявил тогда: «Село, в котором вы так плохо работаете, живет хуже, чем нынешняя Колыма. Так что сослать Мрыкина, к сожалению, некуда». Записали Юрию Ивановичу строгий выговор – «за политически вредное высказывание» – выговор, которым лидер демократов теперь очень гордился, а о «деле» при случае любил подробно рассказывать.

Со дня «вредного высказывания» и особенно после строгого выговора о молодом учителе в народе заговорили – неизменно в благожелательном, иногда даже и завистливом смысле. И хотя тогдашняя слава Мрыкина не покатила дальше сельского района, а под гипнотическим воздействием местного патриотизма была значительно преувеличена, Юрий Иванович, вкусив ее сладость, кажется, уже в те дни ясно понял, в чем заключены его, Мрыкина, призвание, может быть, даже талант, который грех было бы зарывать в землю.

...В длинном красном пиджаке и клетчатых темных брюках, в разноцветном платочке на морщинистой худой шее медленно и в полном одиночестве прохаживался по фойе еще один всем известный в городе человек – пожилой поэт Владислав Миронович Давыденко. Одиночество его объяснялось вовсе не тем, что он никого из присутствующих не знал или присутствующие его не узнавали. Просто он сам в этот вечер никого *знать не хотел* и высокомерным и даже злым взглядом выцветших глаз демонстративно подчеркивал это.

Давыденко в последние месяцы переживал состояние глубокой депрессии. Полвека он был поэтом-гражданином всесоюзного масштаба, на его стихи сочинялись патриотические песни, книги поэта печатали крупные издательства; сборник «Параллелепипед дружбы», отмеченный высшей литературной премией, был переведен на сто языков народов страны... И вдруг на излете жизни судьба-злодейка подсунула ему под нос наглый кукиш: последний сборник поэта-гражданина – можно сказать, антология творчества, – сборник, впервые в жизни изданный на собственные деньги, не покупался ни в магазинах, ни на уличных развалах; торговцы книгами, помучившись с десятком экземпляров, робея, стыдясь и пряча глаза, объясняли именинному автору, что они не хотят больше обременять себя неходовым товаром.

Поэт, в начале *перестройки* объявивший себя либеральным демократом и безусловным сторонником рыночной экономики, в последнее время стал сомневаться в правильности своей новой политической ориентации, что, безусловно, усугубляло переживаемые им страдания...

Присмотримся еще к одной фигуре в фойе. Человек этот невысокого роста, пожилой, но еще вовсе не «согбенный жизнью», а стройный и подвижный, заметно молодящийся.

Белая, но густая шевелюра его хорошо причесана, а новый светлокоричневый костюм, светлая из дорогой ткани рубашка, темнокрасный галстук и очки в золотой оправе придают человеку вид элегантный и даже щегольский. Не спеша и вальяжно человек этот переходит от одной группки гостей к другой, будто совершает некий для всех присутствующих приятный ритуал, улыбается, всем пожимает руки, некоторых женщин чмокает в напудренные щеки и успевает при этом что-то интересное рассказать, отчего благодарные слушатели улыбаются, а иногда и весело смеются.

Это – профессор Иван Петрович Масалов, главный составитель сборников «История К.-ского края» и главный выступающий на сегодняшней конференции. О нем ниже мы еще не один раз вспомним.

Треть публики, пришедшей обсудить новую работу коллектива к. – ских историков, составляли дамы, и половина из них была из тех, что любые, даже траурные собрания посещают с единственной целью – приобрести очередного мужа или любовника. При этом отметим, что вкусы дам, по наблюдениям знакомых автору специалистов-сексологов, не являются плодом лишь их индивидуальных фантазий, а, как все в жизни, подчиняются определенным объективным закономерностям. По изменению вкусов дам, утверждают те же специалисты, можно даже судить о намечающихся политических и экономических изменениях в стране. Не случайно, например, в годы застойной стабильности, когда под ногами державы еще не разверзлась пропасть политического банкротства, дамы предпочитали умыкать людей искусств, а нынче предпочтительнее других оказались финансисты, юристы и компьютерщики. По поводу последних некоторые местные остряки (может, и несколько преувеличивая) утверждали, что высокоумные хакеры, которым нажатием пальца на нужную кнопку компьютера ничего не стоит залезть в чужой банк, часто не могут просчитать всех незаметных и коварных петелек, расставленных им под ноги владельцами лукавых глаз, и, в конце концов, в сладких мучениях единоборство проигрывают.

Когда в фойе появился Алексей Никитин, не одна пара таких глаз тайно скосилась в его сторону. Был Алексей высокого роста; может быть, излишне худощав; несколько вытянутое лицо его внизу заканчивалось тяжелым подбородком, в оценке которого женская часть сотрудников архива не была единодушна: молодые и незамужние считали, что подбородок уродует Алексея и если бы не его легкая походка и *привлекательная* улыбка, то смотреть было бы просто не на что; женщины опытные и уже не раз побывавшие замужем, наоборот, утверждали, что если что-то и делает лицо заместителя директора архива не лишенным обаяния, так это, безусловно, его волевой и мужественный подбородок... На Алексее в тот вечер был элегантный темносерый костюм и шелковая белая рубашка, подаренная ему ко дню рождения любовницей Женей Крюкиной.

На конференцию Алексей пришел неохотно, только потому, что должен был здесь присутствовать, так сказать, по долгу службы – как заместитель директора архива. А мог бы, отметим между прочим, присутствовать и как один из авторов-составителей «Истории К.-ского края...». Но Никитин, как уже известно читателю, четыре года назад добровольно ушел из группы Масалова, он все еще гордился этим своим поступком, поэтому вроде бы тот досадный факт, что теперь его имя не значилось на обложке новой книги, у Алексея не вызывал ни обиды, ни зависти к коллегам.

Оглядываясь по сторонам, наш герой искал в толпе своего друга – газетчика из «Вечерних новостей» Никиту Кнута. Но Кнут на глаза не попадался, а внимание Алексея на мгновение остановила другая близко знакомая фигура – среди гостей, к той минуте уже плотно заполнивших фойе, медленно дрейфовал владелец два года назад открытого в городе крупного торгового кооператива «Базар» Михаил Липковский.

Когда-то Липковский вместе с Никитиным работал в краевом архиве – был робким и неряшливо одевавшимся младшим научным сотрудником отдела справок. Молодые сотруд-

ники архива (чаще всего женская, наиболее ехидная часть сотрудников), отвлекаясь от скучных государственных дел, нередко подтрунивали над ним и охотно разносили по кабинетам смешные «случаи с Мишей». Михаил не обижался и сам придумывал про себя всякие небылицы... Сейчас у Липковского было немало завистников, многие из них, не стесняясь, вслух задавали казавшийся им вполне естественным вопрос: откуда у мало заметной фигурки из архивного отдела справок для того, чтобы открыть «Базар», оказался *первоначальный капитал*? Никита Кнут, который, как он сам уверял, знал в городе всех и все, своему другу Никитину однажды разъяснил этот вопрос так: «Миша в первые месяцы перестройки *кинул* крайком, доверивший ему кругленькую сумму, которую наш друг должен был тайно пристроить в одну из ближневосточных фирм «друзей». На что Никитин тогда резонно возразил, мол, у крайкома для таких целей были и есть кадры понадежнее Миши, а *кидал* партия в прямом смысле в гробу видела.

Липковский в тот вечер был модно одет, взгляд его, несмотря на некоторую усталость в больших черных глазах, излучал агрессивную энергию человека, уверенного в себе и неуверенного в будущем.

...Публика в фойе группами в пять-шесть человек судачила на разные, в основном политические темы; волнуясь и споря, *прогнозировала*. Не обходилось и без анекдотов, сочинение которых, по общему мнению, в последние годы катастрофически стало уменьшаться. Оптимисты радовались этому необычному для страны творческому явлению, видели в нем первые признаки выздоровления нации – мол, наконец-то, прекратив зубоскальство, люди стали работать; пессимисты же в явном затухании жанра винили серенькую и беспомощную власть, о которой даже анекдоты никто не сочиняет.

Ждали звонка, чтобы войти в зал.

2

С трибуны профессор Масалов излучал обаяние и блистал эрудицией. Глаза, устремленные в зал, лишь изредка косились на лежавшую перед ученым маленькую шпаргалку... Рассказывая о времени и стране, на западных границах которой вот-вот полыхнет война, Иван Петрович, для сравнений и аналогий, то и дело уводил слушателей в разные страны и эпохи, сообщал малоизвестные исторические факты, остроумно размышлял о вечном и неизменном в жизни разных эпох. Никитин с восторгом следил за этой увлекательной игрой ума и таланта и с затаенным любопытством – и невольно блуждавшей по лицу едва заметной снисходительной улыбкой – ждал, когда же, наконец, Учитель, поддавшись хорошо известной Алексею слабости, вспомнит о своих любимых героях Древней Евразии.

«Интересно, как он увяжет их с «Историей К.-ского края-5»?

Масалов «увязал» евразийцев в самом конце доклада – когда говорил о репрессиях в Красной армии:

– Уничтожение некоторого количества сограждан, – профессор здесь сделал паузу и тяжело вздохнул, – было делом соблазнительным и даже обязательным для всех деспотов. Без этого, считали они, в государстве падает дисциплина, растет неповиновение, государство начинает гнить и разваливаться, расплзается «инакомыслие», а, главное, вызревает опасный соперник. В первую очередь под топор шли самые ненадежные – самые умные и талантливые... Примеров, вам известных, – тьма: эпохи Ивана Грозного, Бориса Годунова, Петра Первого... В 1312 году царевич Узбек, захватив высшую власть в Золотой орде, влиятельных и знатных богатырей и *семьдесят царевичей*, затеявших с ним спор, без колебаний лишил жизни...

Ровно через сорок минут профессор покинул трибуну. И, сев за стол президиума, тотчас же, зал еще шумел аплодисментами, наклонился к стоявшему перед ним микрофону:

– Предлагаю до перерыва выслушать нескольких выступающим. Слово предоставляется...

В зале были разные – и по возрасту, и по уму, и, главное, по политическим убеждениям люди. Собравшись вместе, чтобы поговорить о двух, может быть, самых сложных (и достаточно затуманенных официальной пропагандой) в истории края года, они, подобно соединившимся электрическим проводам с разными зарядами, не могли не вызвать в зале... ну, если и не вольтову дугу, то по крайней мере искрометное замыкание. А чтобы одержать верх в дискуссии, каждой стороне было важно задать *правильный тон* разговора, который, как дебют шахматиста, играющего белыми фигурами, во многом определяется первым ходом, то есть первым выступающим.

Кому Масалов позволит открыть дискуссию?

«Ну, конечно же, *нашему*», не сомневалась та часть публики, которая и душой, и пониманием жизни разделяла главную концепцию пятого сборника. Их представитель уже приготовился ринуться на трибуну с написанными дома и обсужденными в узком кругу дифирамбами профессору и его новой книге.

– Слово предоставляется, – профессор снял очки, золотая оправа сверкнула в зал веселым зайчиком... – Юрию Ивановичу Мрыкину.

«Мрыкину?! – зашевелились первые ряды. – А почему, например, не академику Федорченко? Не секретарю крайкома партии товарищу Бурбе? Почему, наконец, не доценту Линковскому? Дав первое слово местному демократу, известному болтуну и демагогу, профессор, кажется, допустил тактически неверный ход...».

Но Масалов был умнее своих единомышленников.

Лидер демократов, скороговоркой отметив, что «трудившаяся под руководством профессора Масалова группа ученых... проделала значительную и во многом полезную работу», примерами из «работы» эту мысль подтверждать не стал, а, не теряя коротких минут, отпущенных ему регламентом, от формальных и скучных реверансов сразу же устремился к полемике:

– В сборнике, – сказал он, снял очки, близоруко прищурился и с вызовом посмотрел сначала поверх зала, потом – в сторону внимательно и строго глядевшего на него профессора Масалова, – к сожалению, отсутствуют документы... скажу точнее, отсутствуют даже те *важные* документы, которые многим из нас, благодаря перестройке и гласности, уже знакомы. И совсем нет...

Демократы и их сбитые с толку оппоненты с одинаковым интересом следили за развитием еще не привычных для них мыслей: «кто-то упорно не хочет рассказывать нам всей правды... уже московские газеты сообщили... профессор Афанасьев на конференции в центральном доме литераторов в Москве привел цифры... академик Сахаров...».

Время, отпущенное Мрыкину, к неудовольствию зала (и особенно его задних рядов) быстро прошло, и лидер демократов, у которого, судя по его нахмуренному лицу, в запасе еще оставалось много и стрел, и острот, и цитат, вынужден был остановить поток умных слов и медленно сошел с трибуны.

Зал поаплодировал и тотчас же, не моргая, стал всматриваться в уставшее лицо неподвижно и молча сидевшего за столом президиума профессора.

Что скажет Масалов в ответ на «справедливую и убедительную критику», как считали задние ряды, а также на «наглое выступление беспардонного выскочки», как думали первые ряды?

Иван Петрович целую минуту молчал.

И никто не догадывался, что профессор в течение этой минуты продолжал разыгрывать перед залом хорошо им продуманный спектакль.

Масалов лучше демократов и их оппонентов знал, *что* именно будет говорить словоохотливый приверженец *нового мышления*, и очень хотел, чтобы зал непременно услышал *это*.

Дав Мрыкину выступить первым, профессор делал обдуманый еще дома ход конем – ход, который должен был защитить пятый сборник «Истории...» с самой уязвимой и очевидной для критики стороны.

Иван Петрович, наконец, поднялся со стула и едва заметным движением руки поправил микрофон.

– Книга, о которой мы сегодня говорим, – голос профессора уже был полон печали, – действительно, не содержит многих очень важных для истории нашего края документов. Но их нет в нашей книге не потому, что кто-то спрятал эти документы и, как выразился мною глубоко уважаемый Юрий Иванович, не хочет познакомить общественность со всей, в том числе и горькой правдой. Если бы документы были спрятаны!.. Я расскажу вам историю, которую до сих пор переживаю как личную драму.

Зал, забыв о перерыве, насторожился.

Профессор вернулся на трибуну.

– В первые дни войны, – начал он свой рассказ, – когда немецкие танки были уже совсем рядом с нашим городом, местные чекисты успели отправить на восток вагон важных архивных материалов. Есть документ, подтверждающий этот факт. Вот он: «Вагон с архивными документами 8 июля 1941 года в 18.20 приняли для сопровождения наши сотрудники старший лейтенант П. Андреев и лейтенант Б. Гладков. В составе санитарного поезда № 206 вагон в 20.00 ушел со станции К. в сторону станции Т. Начальник краевого управления НКВД полковник Д. Ф. Легких. 9 июля 1941 года, 21.00 часов». Эта телеграмма, отправленная на Лубянку, к сожалению, за годы войны была первой и последней вестью о вагоне. Командиры, сопровождавшие ценный груз, очевидно, погибли (при каких обстоятельствах, узнать не удалось), а вагон пропал. Уже после войны некоторые сведения о нем местная госбезопасность узнала из писем, полученных в ответ на свои запросы. Прочитаю эти письма.

Масалов раскрыл папку.

– «Наш санитарный поезд № 206 ушел со станции К. вечером. В первые сутки происшествий по дороге не было, зато потом два или три раза налетали самолеты противника, бомбили; нам приходилось останавливаться, прятать по кюветам раненых... Уже в восточной части Украины (станцию не помню) эшелон переформировали, добавили новые вагоны, а побитые отцепили. По не известной мне причине был отцеплен и вагон с архивными документами. Больше ничего добавить не могу. Подполковник в отставке, бывший начальник санитарного поезда № 206 М. Каменев. г. Воронеж, 21 сентября 1947 года». Второе письмо: «На станции Березовская – Юго-Западная железная дорога – интересующий вас вагон был загнан в тупик, где и простоял до следующего года. Вагон был опломбирован, иногда на ночь мы выставляли охрану. Весной 1942 года по приказу командования вагон был отправлен со станции в эшелоне с эвакуированными. Тот эшелон, как и все в те дни гражданские поезда, ушел к Сталинграду, оттуда, был слух, людей собирались вывезти за Волгу. С. Малахитов, бывший диспетчер станции Березовская, г. Орел, 20 февраля 1948 года».

– Наконец, прочитаю донесение, посланное со Сталинградского фронта 19 июля 1942 года командиром батальона майором Афанасьевым: «В двадцати километрах от казачьей станицы Окинской, где проходил рубеж обороны моего батальона, на наших глазах немецкими самолетами был атакован поезд с эвакуированными. Среди сгоревших при бомбежке вагонов был и вагон с архивами из города К.».

Профессор, вздохнув, закрыл папку.

– Это, друзья, тяжелая потеря. Для ученых, исследующих исторические процессы, порой одна маленькая, на первый взгляд незначительная деталь позволяет понять правду давно прошедшей жизни, а тут не «маленькая деталь», а целый вагон важнейших документов... Работая над сборником, мы, конечно, постарались в меру сил и возможностей компенсировать их отсут-

стве, но восстановить документы, увы, уже нельзя. Остается только с горечью признать: сборник, да и в целом историческая наука были бы богаче, не будь военной катастрофы сорок первого года и того страшного пожара, в огне которого, обратившись в пепел, развеялись по ветру бесценные для науки реликвии.

Масалов опять сделал паузу и, подняв глаза, неожиданно бросил в зал многозначительную улыбку:

– В этом зале, дорогие друзья, присутствует человек, который, может быть, последним видел наш несчастный вагон. Полковника в отставке Владимира Васильевича Афанасьева, ветерана войны, защитника Сталинграда и автора только что прочитанного мною документа, мы отыскали в Москве, он охотно принял приглашение выступить на нашей конференции, и я с удовольствием уступаю ему место.

Под аплодисменты зала с первого ряда поднялся и легкой походкой человека, еще полного сил и желания быть полезным обществу, пошел к трибуне маленький сухонький старичок в офицерском мундире старого образца.

Полковник в отставке Афанасьев действительно участвовал в Сталинградской битве, командовал батальоном в районе тракторного завода, дважды за время знаменитой битвы получал ранения и дважды награждался орденами. А после войны стал бойцом идеологического фронта особого назначения – участником движения, которое в партийных документах официально называлось «патриотическим воспитанием трудящихся на примерах ветеранов войны и труда». На разного рода юбилейных собраниях Владимир Васильевич стал рассказывать... Ну, о чем на юбилейных собраниях может рассказывать участник войны? Конечно, о пережитом на фронте, сражениях, друзьях-товарищах военных лет, живых и погибших... Все так и... к сожалению, далеко не так.

Живой правды о страшной войне люди, приходившие послушать ветеранов, как правило, из уст выступавших не узнавали. И тут мало виноватыми оказывались «бойцы особого назначения». Изначально в саму идею «рассказов очевидцев» была заложена ошибочная мысль, будто для интересных не только в семейном кругу мемуаров достаточно быть свидетелем тех или иных событий. А это совсем не так. Разные люди неодинаково воспринимают, запоминают и носят в себе пережитое. Только очень немногие хорошо помнят и сами события и свои индивидуальные переживания, вызванные ими; у других (по мнению автора, у большинства людей) пережитое вчера, не задерживаясь долго в памяти и оставаясь в ней лишь легкой тенью, безжалостно стирается пережитым сегодня.

К числу последних, к сожалению, принадлежал и Владимир Васильевич Афанасьев, и выступления его, содержавшие в основном общеизвестные, переписанные из книг и газет сведения, были изначально делом скучным и бесплодным.

Ветеран легко поднялся на трибуну, потом, не глядя в зал, надел очки, полез за пазуху мундира, достал небольшую, уже заметно состарившуюся и даже, по наблюдению сидевших в первых рядах, пожелтевшую тетрадку и низким, слегка хриловатым голосом очень громко стал читать:

– К лету 1942 года для советских войск обстановка на Сталинградском и Юго-Восточном фронтах сложилась...

Голос полковника по мере сужения фашистского кольца, смертельной удавкой охватившего Сталинград, все более обогащался торжественным пафосом приближающегося возмездия.

– Танки Гудериана, выполняя людовский приказ Гитлера, рвались на Кавказ...

Уже «шли упорные бои за овладение горными перевалами», когда мягкий голос Масалова перебил ветерана:

– Владимир Васильевич, все мы хорошо знаем основные события Великой Отечественной войны. Не могли бы вы, учитывая это обстоятельство, сократить общую часть своего выступления?

Полковник, изобразив на лице крайнее неудовольствие, стал растерянно снимать и снова надевать очки, и только через минуту, наконец, обернулся к столу, за которым сидел Масалов.

– У меня здесь, – он поднял над трибуной тетрадь, – ровно на двадцать пять минут. И я прочитаю все.

Положил рукопись на трибуну:

– Мой батальон в составе тысяча сорок второго гвардейского полка...

Масалов, покраснев, опустил голову.

Зал к этому времени уже бесцеремонно и громко разговаривал, голоса, как на вокзале, сливались в равнодушный гул, который, впрочем, совсем не мешал полковнику. О сгоревшем у станции Окинской вагоне Афанасьев прочитал небольшую, видимо, специально к конференции написанную шпаргалку, прочитал скороговоркой, ничего существенного не добавив к тому, что уже было известно залу из прочитанного Масаловым военного донесения полковника (тогда еще – майора).

Наконец, ветеран спрятал за пазуху свои бумаги и собрался было покинуть трибуну, но Масалов вежливым жестом остановил его и попросил зал задать полковнику вопросы. При этом профессор, хорошо понимавший настроение зала, надеялся, что никаких вопросов, конечно же, не последует и «воспоминания» на этом благополучно закончатся.

Но Иван Петрович ошибся.

Он не знал об одном коварном обстоятельстве: на конференцию, из-за бесконтрольности у входа, проник и спокойно сидел сейчас в тринадцатом ряду Василий Николаевич Бельцов, тоже ветеран войны, бывший партизан, которого, однако, официальные власти уже давно не приглашали ни на какие военно-патриотические мероприятия и даже заранее принимали меры, чтобы он не появлялся на таких мероприятиях по собственной инициативе. Причина тому для всех, знавших Бельцова, была понятной. После войны бывший партизан не стал публично делиться воспоминаниями о том, как он, маскируясь на опушках брянских лесов, подрывал немецкие военные эшелоны или брал в плен фашистских генералов (хотя, по свидетельству тех, кто во время войны партизанил вместе с Бельцовым, в военной жизни их товарища по оружию случалось что-то похожее и на это). Василий Николаевич нашел себя в другом виде общественной деятельности: посещая юбилейные торжества, он внимательно слушал воспоминания ветеранов войны и потом обязательно задавал вопросы, стараясь запутать выступавших, вывести их, что называется, на чистую воду, ибо, по убеждению бывшего партизана, «все они», живописуя свои окопные подвиги, «бесстыдно врут и приписывают себе лишнее».

Увидев поднятую руку Бельцова, Масалов сильно пожалел, что не попросил поставить у входа в зал наряд милиции.

– Пожалуйста, Василий Николаевич, – профессор сделал вялый жест рукой в сторону опального партизана и при этом постарался улыбнуться, но поскольку в эту минуту он про себя произносил слова, которые никогда не произносил вслух, улыбка у него получилась искусственной и даже сердитой.

Бельцов поднялся с кресла и, чтобы быть хорошо услышанным, вышел в проход между рядами.

Бывшего партизана, как оказалось, интересовали вопросы: сколько самолетов бомбили *тот* эшелон; в какое время суток появились бомбардировщики; где в это время находился командир батальона; почему он посчитал нужным послать *специальное донесение* о сгоревшем вагоне с документами...

Зал, откровенно развлекаясь, с нездоровым интересом выслушивал глупые, как казалось залу, вопросы бывшего партизана и беспомощные ответы на них бывшего командира батальона.

– ...Вы, полковник, в войну повидали не один десяток горевших железнодорожных вагонов?

– Повидал, коллега, повидал.

– Тогда объясните мне, пожалуйста, чем вагон, о котором вы написали в донесении, отличался от других?

– Ничем. Был такой же, как все, телячьи.

– Спасибо, – Бельцов многозначительно хмыкнул. – Больше вопросов не имею.

Масалов, с трудом сдержавшись, чтобы не прокомментировать этот некстати случившийся диалог, подождал, когда бывший партизан под одобрительный смешок зала сел в свое кресло, потом посмотрел на часы и объявил перерыв.

3

Выйдя в фойе, Никитин увидел, наконец, своего друга-газетчика. В черных джинсах и старом горчичного цвета свитере Кнут стоял у окна и, облокотившись на подоконник, хмурясь и то и дело поправляя пальцем на носу толстые роговые очки, никого не замечая, читал какую-то книгу.

Кнут был среднего роста, спортивного сложения; еще ни разу не женился; носил, как мы уже отметили, очки, увеличивавшие его и без того большие карие глаза; очки сидели на средних размеров «кавказском» носу, несколько, правда, тяготевающим к славянской курносости.

Дружба двух молодых людей, которым в нашей повести суждено сыграть далеко не последние роли, возникла еще в те годы, когда оба они, сидя на одной студенческой скамейке, переживали, по словам Кнута, «время наивной веры в возможность осчастливить человечество». Об этом времени память сохранила не только то *главное*, что было приобретено в университете и осталось в каждом из них на всю жизнь, а и множество мелких эпизодов, совершенно второстепенных лоскутков жизни, что составляет одну из загадок человеческой природы: иногда память услужливо подсовывает нам из прошлого ничего не значащую труху, а некоторые важные события навсегда стирает, как магнитофон, в котором по ошибке нажали не ту кнопку. Запомнилось, например, как в общежитии они однажды подшутили над приятелем с биологического факультета (тот приятель, доктор наук, сделавший важное открытие в области нестарения клеток, недавно – власть к тому времени уже чуть приподняла *железный занавес* – уехал зарабатывать деньги в Швейцарию): когда будущей знаменитости недалеко жившие от К. родители-колхозники привезли десяток свежих яиц, над посылкой в отсутствие хозяина была проделана ювелирная работа – каждое яйцо было проткнуто тонкой иглой, лишено своего естественного содержания и наполнено мелко помолотой кукурузной мукой, специально для этой операции купленной на базаре. И на другой день на общей кухне общежития будущий специалист по нестарению клеток, разбив над раскаленной сковородкой с уже растопившимся салом яйца, вместо ожидаемого блюда увидел на сковородке нечто непонятное, очень похожее на молдавскую мамалыгу. Вместе с авторами шутки он, стоя у плиты, долго хохотал, заинтересованно выспрашивал технологические детали «операции», и, говорят, тот опыт, выполненный в примитивнейших условиях студенческого общежития, потом успешно использовал в своей докторской лаборатории, благодаря чему и сделал мировое открытие.

Запомнилось, как в теплые летние вечера танцевали они на открытой площадке в Пушкинском парке (бесплатно играл веселый многонациональный джаз: две еврейские скрипки,

цыганский контрабас, украинская труба с сурдинкой, русский трамбон и молдавские цимбалы и барабаны) и как из этого парка, под неслышимый стук вполне созревших для любви сердец, уводили очаровательных партнерш по фокстротам и рок-н-ролу ночевать за город, в большой сливовый сад, росший на одном из берегов большого озера; в саду была высокая и мягкая трава, за час до рассвета начинали петь птицы... Кнут однажды застрял в той траве на несколько суток, и Никитин, обеспокоясь долгим отсутствием друга, вынужден был даже организовать его поиски, что и спасло тогда Никиту от голодной смерти.

И, конечно, запомнился Учитель – *тот* Масалов... Вышитая полотняная белая рубашка, твидовый пиджак, загорелая крепкая шея, густая, аккуратно уложенная, чуть выющаяся черная шевелюра, черные глаза, затаившие снисходительную, но не обидную улыбку... Небрежно кинул, не раскрыв, на стол тонкую папку. «Я буду вести у вас спецкурс...». Папка («с цитатами», как попробовал было на той первой встрече с Учителем шепотом съязвить сидевший рядом с Никитиным Кнут) до конца той блистательной лекции оставалась нераскрытой... В университете Масалов был, пожалуй, единственной яркой личностью, заслуженно блиставшей на фоне серой и бездарной профессуры, оставшейся после изгнания с факультетов вейсманистов-морганистов, кибернетиков, травопольщиков, космополитов, формалистов, языковедов-марристов...

Ах, Иван Петрович, как увлекательно было бы дружить с вами всю жизнь!

Не замеченный Кнутом, занятым, как мы уже отметили, какой-то книгой, Никитин подошел совсем близко к другу и, наконец-то, узанный, был встречен осветившей лицо Никиты улыбкой.

– А, рад тебе, Алеша.

И тотчас же, погасив улыбку и сердито отбросив на подоконник книгу, которую он только что держал в руках (Алексей, покосившись, успел заметить, что это был сборник «История К.-ского края-5», продававшийся тут же, в фойе), Кнут, с некоторыми отступлениями от нормативной лексики, произнес энергичную филиппику по поводу всех научных конференций, сборников документов, ветеранов войны и труда, истории, архивов, профессора Масалова и собственной персоны, «не понятно, за каким х... припершегося на это пустое сборище».

– Вы, оказывается, грубый мужчина, товарищ Кнут.

Никита снял очки, прищурил большие глаза:

– Иван Петрович Масалов, крупный ученый, знаток древнейшей истории Китая, диких степей, жужаней, телеутов, татар и монголов, стал сочинять дешевые детективы на современные темы! Ты раньше слышал о сгоревшем вагоне с документами?

– Слышал. В войну мы действительно потеряли много важных бумаг. Масалов сегодня рассказал правду.

– И как же это он без документов умудрился создать свой пятый сборник?

– Не притворяйся, Никита, придурком – у тебя это очень естественно получается.

– И все-таки...

– Масалов собрал все, что осталось в нашем хранилище – немцы архив вывезли не целиком; организовал несколько летних экспедиций – студенты записали рассказы пожилых людей о жизни перед войной; документы о крае были и в московских архивах, Масалов снял с них копии... А книга, Никита, ты прав, – конечно, туфта: многие документы в ней фальсифицированы, нет новых документов, рассекреченных в последние годы...

– И снова засекреченных.

– К сожалению...

– Зачем такая книга нужна была Масалову?

– Она нужна была не ему.

– Социальный заказ? – в глазах Никиты неожиданно мелькнули озорные искорки, и он, не дав Алексею ответить на свой вопрос (ответ он, впрочем, знал и сам), заговорил совсем о другом:

– Вчера, Алеша, я встретил Виталия Васильевича Тулина. Знаешь такого?

– Губернатор острова?..

– Нет. Виталий Васильевич когда-то служил в городской сберкассе и ходил к нам в редакцию на заседания литературного объединения – писал стихи на производственно-экономические темы. Помню, как он, тонкая натура, однажды плакал, когда *поэтесса* Аня Свистина – в литературных энциклопедиях это имя можешь не искать – читала свои потаскушечьи верлибры... Так вот, Тулин, представь себе, в этом году стал капиталистом – купил три фанерных ларька на центральном базаре. А увиделись мы на *презентации* в ресторане «Журавли», за что пили, не помню. Во время фуршета, когда я вел неофициальные переговоры с секретаршей начальника какого-то полуподпольного кооператива – между прочим, весьма аппетитной дамой, – подошел ко мне Виталий Васильевич и, не стесняясь секретарши, сказал: «Я, Никита, уже нанял киллера, чтобы тебя убить». «За что?» – спрашиваю. – «А зачем ты описал в газете, как я в ресторане «Маленькие лебеди», выпив лишнего, взобрался на стол и на потеху публике громко портил воздух?»

Алексей брезгливо поморщился:

– Заносит тебя, Никита, в такие конюшни.

– Только ради тиража газеты, оперативной светской хроники и ничтожного гонорара.

– Каков свет, таков и гонорар.

Кнут наклонился к уху друга и, продолжая дурачиться, таинственно зашептал:

– Тулин, Алеша, сказал, что по поводу киллера он, конечно, пока пошутил, но если еще раз прочтает про себя хоть что-нибудь, написанное мной, то уж тогда обязательно застрелит.

– И правильно сделает.

В эту минуту внимание наших героев привлек человек в темносером костюме, остановившийся у соседнего окна, – высокого роста, худощавый и совсем седой. Незнакомец осторожным взглядом (выдававшим, что он впервые попал в актовЫй зал архива и никого здесь не знал) осматривал проходивших мимо него и, встретившись глазами с Никитиным, улыбнулся. Алексей в ответ слегка поклонился.

– Вы знакомы? – обернулся к другу Кнут.

С человеком, стоявшим у окна, Никитин познакомился два часа назад, на улице, у входа в архив – человек этот, извинившись, попросил тогда у Алексея приглашительный билет на конференцию. Билеты заранее были посланы всем, кого организаторы мероприятия посчитали нужным видеть в этот вечер в актовом зале, но контроля, как мы уже отмечали, у входа не было, и Алексей, выслушав пустяковую просьбу пожилого и не внушавшего недоверия человека, без лишних слов пригласил его следовать за собой.

Этой встрече Никитин не придал тогда никакого значения.

Кнут, выслушав Алексея, был разочарован.

Но мы с тобой, читатель, запомним этого высокого седого человека, стоявшего у окна в перерыве конференции. Он скоро снова появится на наших страницах.

После звонка, приглашавшего пройти в зал, Никитин предложил другу сесть с ним рядом в пятом ряду («как раз есть свободное кресло»), но Кнут, чуть подумав, зевнул и махнул рукой:

– Пойду-ка я лучше домой, Алеша, надоели мне ваши вагоны, гори они вместе со всеми вами...

Никитин вернулся в свое кресло.

Ораторы с заранее написанных бумажек считывали мелкую банальщину. Зал, пропуская их речи мимо ушей, томила привычной тоской. Даже демократам не удавалось раздуть искру, обретенную в зал их лидером в первом отделении (для этого, как учил Мрыкин, они должны были «думать над тем, над чем еще никто не думал», но этого-то они пока еще и не могли делать). Масалов тщетно пытался реанимировать мероприятие: в самые скучные минуты прений деликатно перебивал выступавших, дополнял и пытался углубить содержание их унылых рассуждений, остроумно шутил... Алексею все это очень быстро надоело, и он с завистью стал думать о своем друге Никите, который, благоразумно покинув конференцию, «наверно, в эти минуты сидит на *презентации* в каком-либо златном месте и пьет дармовой коньяк».

«Никите, с его пером и умом, сейчас не о жалком бы гонораре думать... Укрыться бы ему в тихом месте, без людей и водки, и писать рассказы, а он шляется по кабакам, пьянствует с кем попало и, как сказал, кажется, Паустовский, «уничтожает себя близостью со вздором» – на потеху глупых обывателей сочиняет «светскую хронику»... Жизнь, единственная и недолгая, бесследно утекает...»

Последняя сентенция относилась уже не только к Никите, а и к самому Алексею и была продолжена в духе закаленного, как сталь, Корчагина:

«Сейчас жить так, как живем мы с Никитой, стыдно».

Сейчас...

Мертвая зыбь, так долго мучившая страну и надоевшая даже ее вождям, неожиданно покачнулась, зарыбила, вздернулась, застучала в берега пока пусть невысокими, но уже предвещающими *изменение погоды* волнами... *основополагающие* истины зашатались и потрескались, как высохшее в засуху болото...

– А сейчас выступит, – голос Масалова и названная им фамилия вернули Никитина к событиям в зале.

На трибуну, с заметным усилием разгибая старческие колени, поднимался Семен Ильич Переведенцев, академик-историк республиканской академии наук – ортодоксальный представитель оригинальной, возникшей в горниле победившего большевизма науки «истории», в основе которой лежало не исследование реальной жизни, а «соображения революционной целесообразности».

Переведенцев, как и ожидали в зале, одобрял «безупречный», «научно обоснованный», «идейно выдержанный», «содержащий глубокие, до конца выверенные марксистско-ленинским учением комментарии» пятый сборник «Истории К.-ского края» и темпераментно и даже порой остроумно критиковал московских и «рабски к ним примкнувших» местных «так называемых» демократов. При этом он то и дело упоминал об известных ему из авторитетных источников связях «разрушительных сил в партии и в целом в стране» с ЦРУ, а также мировым сионизмом.

– ...Империалисты против нас открыли сорок радиостанций, вещают на двадцати языках народов СССР. О кадрах для работы в эфире их идеологи говорят: нас интересуют самые талантливые из наиболее одаренных...

Еще в студенческие годы Никитин, томясь на скучных лекциях, придумал нехитрую игру: во время таких лекций он с охотничьим азартом стал ловить преподавателей на лжи или подтасовке фактов. Сам он называл игру *скрытой дискуссией*, а Кнут – *фигой в кармане*. И сейчас, слушая академика, Алексей (у которого один вид Переведенцева вызывал не только скуку,

а и приступы аллергического кашля), вспомнил о той игре и решил «сыграть» с ученым «партию».

– ... Владимир Ильич Ленин, и это акцентируется в обсуждаемом нами сегодня сборнике, постоянно подчеркивал миролюбие нашего государства.

Никитин дешевою «пешку» академика легко крыл тоже недорогой фигурой:

– Владимир Ильич Ленин учил: «как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот».

– ... В некоторых аудиториях в последнее время умышленно искажается смысл освободительного похода Красной армии в сентябре тридцать девятого года в восточные земли Польши. Я напомним отрывок из «Правды» от 14 сентября 1939 года – статья, к чести профессора Масалова, целиком перепечатана в пятом сборнике: «Почему польская армия не оказывает немцам никакого сопротивления? Это происходит потому, что Польша не является однонациональной страной. Только шестьдесят процентов населения составляют поляки, остальную же часть – украинцы, белорусы и евреи... Одиннадцать миллионов украинцев и белоруссов жили в Польше в состоянии национального угнетения...» Через три дня, 17 сентября, Красная армия, чтобы спасти единокровных украинцев и белорусов от немцев, а не в силу придуманных нашими невежественными демократами «имперских амбиций», перешла советско-польскую границу.

– Вранье. Польская армия, как могла, сопротивлялась фашистам, мужественно обороняла, например, Гдынь, Варшаву; генерал Константин Плисовский, возглавлявший гарнизон Брестской крепости, открыл ворота цитадели только после того, как крепостные бастионы стала разрушать тяжелая артиллерия красного комбрига Кривошеина... Молчит академик и о том, что в результате «освободительного» похода в плену у нас оказались несколько десятков тысяч польских военнослужащих, и почти все они были расстреляны – не только в Катынском лесу, а и под Гродно, в Ошманах, в Ходорове, Молодечно, Сарнах, Новогрудке, Рогатыне, Коссове-Полесском, Волковийске и других местах.

– ... В сборнике справедливо подчеркиваются довоенные успехи страны в укреплении демократии. – Переведенцев для примера зачитал из книги два документа.

– Есть, Семен Ильич, и другие документы на эту же тему – и опубликованные, и, уверен, еще спрятанные. В январе 1939 года был арестован Семенов – председатель *тройки*, судившей «врагов народа» в Московской области. На следствии он рассказал: «За один вечер мы пропускали до пятисот дел и судили по несколько человек в минуту, приговаривая к расстрелу и на разные сроки наказания. Мы не только посмотреть в деле материалы – даже прочитать повестки не успевали». В начале тридцать восьмого года *тройка* пересмотрела дела 173 инвалидов, находившихся в тюрьме, и 170 из них приговорила к расстрелу. «Этих лиц, – показывал Семенов, – расстреляли мы только потому, что они были инвалидами, которых не принимали в лагерь».

Конец выступления академика Алексей уже не слушал. Подумав о том, что Масалов дискусию, по-видимому, скоро все-таки прекратит, он вдруг почувствовал себя уставшим, захотелось поскорее покинуть душный зал («сколько пустых часов прожито в его стенах!») и уйти домой – лечь на широкую тахту, включить большой недавно купленный светлозеленый торшер и дочитать, наконец, «Петербург» Андрея Белого.

На улице уже густели сумерки, когда Никитин, осторожно обойдя расставленные в фойе столики, на которых неслышно шипели бокалы с шампанским, вышел на мраморную площадку большого крыльца. На чугунных столбах справа и слева горели большие матовые шары-фонари. Заметно остуженный к концу дня слабый ветер оведал лицо запахами сирени.

Алексей спустился на тротуар и минуту постоял, наслаждаясь свежим ароматным воздухом. Домой решил идти пешком и уже сделал было несколько шагов по тротуару, но остановился, услышав за спиной позвавший его незнакомый голос:

– Алексей Васильевич...

Оглянулся – перед ним стоял седой, высокий человек в темносером костюме, – тот самый, которому Алексей помог сегодня попасть на конференцию.

– Извините... Я – Фролов, Григорий Васильевич, – представился седой человек и застенчиво улыбнулся – ему, кажется, нелегко было решиться на встречу с Никитиным (он, наверно, догадывался, что в ту минуту единственным желанием заместителя директора архива было желание отдохнуть от душного зала и поскорее возвратиться домой).

– Чем еще могу быть полезен, Григорий Васильевич? Приглашенный билет на конференцию у вас, надеюсь, никто не проверил?

– Спасибо. Мне очень хотелось послушать профессора Масалова.

– Да, Иван Петрович – талантливый ученый, – Никитин старался говорить учтиво и вежливо, но получалось устало и сухо – Алексей не верил, что незнакомец может сообщить ему что-либо интересное.

Фролов неловко переступил с ноги на ногу.

– Время, Алексей Васильевич, сейчас позднее, вы, конечно, устали, поэтому... скажу только главное.

– Да, время, действительно, позднее.

Фролов посмотрел прямо в глаза Никитина (отметим, читатель, этот миг!):

– Все, что сегодня на конференции говорилось о сгоревшем вагоне с документами, – ложь. Выдумка, Алексей Васильевич!

«Это, наверно, второй партизан Бельцов с его сакраментальным «все бесстыдно врут», – подумал Никитин, но все-таки спросил:

– А вы, извините, знаете правду?

– Знаю. И могу вам эту правду рассказать, – Фролов заметно разволновался. – Для меня вы человек, конечно, едва знакомый, можно даже сказать, вовсе не знакомый, и если бы не наша встреча три часа назад... Но раз уж мы увиделись... Рассказать о вагоне мне сейчас, кроме вас, некому. Если наше знакомство продолжится, вы поймете, почему.

– Но слова...

Фролов настойчиво перебил:

– У меня, Алексей Васильевич, есть вещественные доказательства!

В эту минуту в Никитине дрогнуло сердце – так иногда случалось во время археологических раскопок, когда под его скребком, осторожно снимавшим тонкий слой земли, еще ничего не было, но уже было ясно, что что-то обязательно должно быть.

– Тогда... – Алексей сделал осторожное движение рукой, приглашая Фролова вернуться в здание.

– Нет, нет, Алексей Васильевич. Наш будущий разговор, как говорится, на свежую голову. Я помогу вам узнать правду о вагоне, но вы примите одно мое необременительное условие: сначала я познакомлю вас с *вещественными доказательствами* – без них мой рассказ не вызовет у вас доверия, покажется выдумкой. Но за *доказательствами* придется съездить – недалеко... Сейчас вы дайте согласие на поездку... У меня есть легковой автомобиль, послезавтра в шесть вечера я могу позвонить вам на работу...

Алексей к этой минуте уже не ощущал усталости и был взволнован не меньше своего таинственного незнакомца. Конечно, он поедет с Фроловым, и не только потому, что *это* – недалеко. Но теперь уже и не хотелось вот так просто и вдруг, не поговорив, разойтись с человеком, который что-то знает (поверим человеку пока на слово!) о вагоне с документами. Поэтому

ответ Никитина прозвучал неуверенно, будто решение, принятое им, было еще не твердым и не окончательным:

– Я, Григорий Васильевич, наверно, приму ваше условие, но давайте мы с вами...

– Не будем зря терять время! Звоню вам послезавтра в шесть вечера. На работу, – Фролов слегка поклонился и, быстро повернувшись, скрылся в большой толпе, уже спустившейся с мраморных ступеней на тротуар.



Глава 3. Военная тайна

1

Весна в том году наступала медленно. В марте и в первые декады апреля небо было серым, часто шли холодные дожди, солнечные дни, редко случавшиеся в это время, сменялись ночными заморозками, поэтому все в природе осторожно выжидало и не торопилось начинать новый круг жизни. Только в конце апреля пришло, наконец, первое, еще не жаркое, тепло, и тогда быстро, будто догоняя упущенное время, зазеленели улицы и городские парки.

Расставшись с Фроловым, Никитин решил домой не торопиться. Хотелось празднично пройтись по вечернему городу, чтобы на свежем воздухе хорошо обдумать только что случившийся разговор у крыльца архива.

«Что Фролов знает о вагоне?».

Алексей пересек небольшую площадь, где при слабом свете двух грязных лампочек, висевших на столбах, перепоюсаннанные платками старушки торговали редиской и молодой картошкой. Потом прошел длинную улицу Садовую и стал спускаться по круто шедшей вниз, прямо к Пушкинскому парку, Петровской улице.

«Здесь мне всегда хорошо... Почему? – мысли, еще минуту назад устало пульсировавшие вокруг таинственного Фролова, незаметно отклонились в сторону. – Почему на Садовой, наоборот, у меня всегда и беспричинно портится настроение? Наверно, окружающие нас *неодушевленные* предметы действительно заряжены пока еще не ясной для науки энергией – со знаками плюс или минус, эта энергия, взаимодействуя с энергией человека, усиливает или ослабляет нас... Если это так, тогда история каждого города – это не только пронесшиеся над городом события и судьбы живших в нем людей, а и сформированное временем его *энергетическое поле* – лицо города. У только что построенных городов лица нет, поэтому они холодны и неуютны; у старых, но разрушенных временем или войной – лишь осколки лица...».

Энергетическое поле краевого центра К., по воле политиков пережившего не одну мировую встряску, хранили немногие строения. Мимо одного из них, с любопытством поглядывая на зарешеченные окна подвала, где находился маленький ресторан, и шел сейчас Никитин.

Дом этот с хорошо сохранившимся портиком на фасаде и входом, украшенным декоративным фронтоном, уже почти сто лет прочно стоял на тяжелом каменном фундаменте. Построил его еще в прошлом веке местный фабрикант и владелец нескольких гектаров городской земли Иван Пантелеевич Мурзак, слывший в округе человеком не только беспутным и развратным (об этих качествах Мурзака публика, будто и критикуя, рассказывала всегда с неизменным оттенком восхищения и даже зависти), но и большим поклонником изящных искусств. Иван Пантелеевич в городе открыл и содержал на свои деньги клуб поэтов, театр оперетты (где оперетты ставились редко, а в основном игрались водевили местных самодеятельных драматургов), организовал выпуск альманаха «Любовные приключения в стихах и прозе» – издавались в год две толстые книжки; наконец, Мурзак привез из-за границы австрийца-архитектора и его помощника по инженерной части, которые между загулами, к которым в компании с хозяином оказались большими охотниками, спроектировали и построили этот двухэтажный особняк. В старое свое жилье хозяин, к тому времени еще не обзаведшийся семьей, переселил клуб поэтов вместе с муниципальной библиотекой и читальным залом, в новом доме второй этаж занял сам, а на первый свез со всей округи многочисленную родню.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.